

Владимир Кожедеев

Стекло и свет: Петербургский детектив



Владимир Кожедеев

Стекло и свет:

Петербургский детектив

<https://litres.ru/74176378>

SelfPub; 2026

Аннотация

Книга — детектив и роман о правде, которая страшнее легенды, и о дружбе, которая сильнее проклятия.

Санкт-Петербург, начало XIX века. В роду князей Юсуповых веками живет страшное проклятие: в каждом поколении до зрелого возраста доживает лишь один наследник, остальные умирают в младенчестве. Никто не знает причины — одни говорят о дьявольском договоре, другие о древнем алмазе, вырезанном из глаза языческого идола.

Михаил Вронский — сын управляющего имением Юсуповых — с детства отличается холодным умом и недетской наблюдательностью. Случайно подслушав разговор князя с иезуитом о «замене» проклятия, он понимает: его хотят сделать сосудом для чужой беды. Но Миша не намерен сдаваться. Вместе с верным другом Алешкой Строгановым и кузиной наследника, прекрасной Соней Юсуповой, он начинает свое расследование.

Их путь — через школьные обиды, первую дуэль, войну с Наполеоном, потерю руки Алешкой и работу Сони сестрой

милосердия — приведет их к разгадке, которая страшнее любого проклятия.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	24
Глава 3	51
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Владимир Кожедеев

Стекло и свет:

Петербургский детектив

Глава 1

Архангельское, усадьба князей Юсуповых. Октябрь 1796 года.

В Архангельском пахло смертью и воском. Этот запах въелся в тяжелые бархатные портьеры цвета запекшейся крови, в старый дуб паркета, сточенный подошвами пяти поколений, даже в пергамент книг, которые князь Николай Борисович Юсупов так любил перебирать по ночам, когда бессонница гнала его из опочивальни в библиотеку. Запах этот был не столько физическим, сколько метафизическим — он жил в складках штор, в сырости известковых стен, в том особом, тяжелом воздухе, который всегда сопутствует угасанию. Дом дышал предсмертием, хотя в нем еще звучали голоса и звенели ложки за утренним чаем. Но каждый, кто переступал порог, чувствовал это — необъяснимую, ледяную тоску, которая сворачивалась кольцом у самого сердца и не отпускала до самого выхода.

В доме было душно, хотя за окнами, мокрыми от косого

октябрьского дождя, метался ветер, грозя сорвать с петель тяжелые створки. Дождь барабанил по стеклам с назойливой, монотонной настойчивостью, и этот стук казался предвестником — будто сама природа отбивала последние такты чьей-то короткой жизни. Свечи чадили, роняя длинные наросты сальных слез на полировку столов, и тени по углам дрожали, как живое предчувствие беды. Их колебания создавали странные фигуры на обоях с выцветшим амурным орнаментом — то профиль старухи с клюкой, то сгорбленный монах, то младенец с неестественно вытянутыми руками.

Она пришла в четвертом часу утра. Родовые схватки начались еще на закате, но графиня Марья Петровна, женщина высокая, сухая, с лицом, изрезанным временем, как старый театральный занавес, упорно молчала, стиснув зубы и вцепившись в резной подлокотник кресла, пока внизу, в парадных залах, шли приготовления к балу в честь годовщины коронации. Она не любила показывать слабость — даже ту, что дарована природой. Роды принимала сама графиня-мать, старая немка Лизхен Шульц, с цепкими пальцами, искривленными артритом, и лицом, вырезанным из дуба времен Семилетней войны. Ее руки, покрытые пятнами и сетью синих вен, помнили больше смертей, чем жилистые руки полковых хирургов. Она никогда не носила перчаток — говорила, что кожа матери должна чувствовать кожу младенца, даже если та уже остывает.

Но даже эти руки, знавшие смерть не хуже жизни, дрогну-

ли, когда из алой тьмы на свет появилось нечто, чей крик так и не разорвал тишину. Младенец — третий по счету за это пятилетие — был синеват, холоден и мертв, словно его высосал сам каменный пол, выпив жизнь через пуповину. Пузырь, из которого он вышел, лопнул с тихим, влажным звуком, и по простыням разлилась темная, почти черная вода, пахнувшая железом и гнилью.

Лизхен Шульц замерла на мгновение, приподняв тельце на ладонях, словно взвешивая его на невидимых весах. Она перевернула его, заглянула в крошечное, сморщенное лицо, в глазницы, где еще не открылись глаза, и покачала головой. Губы ее, тонкие, поджатые, издали звук, похожий на шипение: «Tod». Смерть. Слово вырвалось само, без перевода, на том родном наречии, которое она не употребляла уже сорок лет, но которое всегда возвращалось в часы беды. Она положила его на пеленку, уже приготовленную для купели, и накрыла краем простыни, будто пряча от самого воздуха.

— Барин, — голос старой акушерки сел до хриплого шепота, — простите... Господь волен давать и отнимать. Не нам судить Его промысел. Но... третий. Третий за пять лет. Я стара, я много видела, но такого не помню. Будто их высасывает сам пол, будто земля под домом не держит младенцев.

Князь не обернулся. Он стоял у высокого стрельчатого окна, опершись ладонями о мокрый подоконник, и смотрел на черный, взбаламученный пруд, в котором тонули отсветы одинокого фонаря. Его руки были широки, с квадратны-

ми ногтями и синими жилами, выступавшими на тыльной стороне, как корни старого дуба. На мизинце правой руки поблескивал золотой перстень с вензелем — единственная драгоценность, которую он никогда не снимал, даже во сне. Каждое утро он натирал его замшей, и каждое утро замечал, что камень — мутный, зеленоватый, неправильной формы — словно меняет оттенок в зависимости от погоды.

Николай Борисович был еще крепок, несмотря на шестьдесят с лишком лет: широк в плечах, с тяжелой челюстью, волевым ртом и глазами, которые умели улыбаться только в театре, когда опускался занавес и можно было забыть о тяжести собственного имени. Сейчас в них застыла ледяная мука, которую он не позволял себе выплеснуть — князь Юсупов не имел права на слабость перед слугами. Он был из той породы людей, которые считали, что публичная боль — это неприличие, хуже, чем явиться в обеденной зале без галстука. Он сжимал зубы так, что желваки на скулах ходили ходуном, но голос его оставался ровным — выверенным, как мензурка в лаборатории его друга-химика.

— Кто? — спросил он, не оборачиваясь. Голос его был ровен, как струна, натянутая до предела, готовая лопнуть от малейшего прикосновения. — Кто наследник? Опять девочка? Я слышал крик. Он был слабый, как у котенка, которого давят сапогом.

— Мальчик, — выдохнула акушерка, и это слово вырвалось у нее как приговор, с таким же металлическим звоном,

как падение гильотины. — Но... не дышал. Я пыталась. Я растирала, я дула в рот, я клала на живот к матери, чтобы тепло ее тела... Но он был холоден еще до того, как вышел. Будто его убили внутри. Господь прибрал, не дав и вздохнуть.

Князь медленно повернулся. Его взгляд упал на соседнюю колыбель, где, свернувшись калачиком и жадно хватая воздух тонкими, прозрачными губами, спал годовалый Борис. Единственный выживший. Бледный, с синими прожилками под кожей, словно вырезанный из воска искусным, но безжалостным скульптором. Он часто болел, почти не плакал и смотрел на мир с той странной, взрослой покорностью, которая пугала прислугу больше любого крика. Борис не требовал, не капризничал — он просто был, с усталой покорностью существа, знающего, что его время может кончиться в любую минуту. Когда он спал, его веки подрагивали, как у птицы, которая видит сон о полете, но не может расправить крылья.

Колыбель была резной, темного ореха, с балдахином из голубого шелка, расшитого серебряными нитями в виде звезд. Эту колыбель заказали в Париже, когда родился первый сын, и она обошлась в сумму, на которую можно было бы прокормить деревню год. Теперь она казалась гробом — слишком большой, слишком роскошной для такого хрупкого существа. Над колыбелью висела икона Казанской Божьей Матери в серебряном окладе, и ее лик, темный от времени,

смотрел на младенца с той же покорностью, с какой тот спал.

— Третий, — прошептал князь, прижимая ладонь к груди, туда, где под бархатным домашним сюртуком неистово билось сердце, и этот стук казался ему насмешкой — я, старый, живу, а они, невинные, умирают. — Третий сын мертв, Лизхен. А у Долгоруких — пять мальчишек, как грибы, один здоровее другого. У Шереметевых — три. У нас — один. Один на весь род, и тот... — он не договорил, но в комнате повисла та страшная тишина, в которой невысказанное звучало громче крика. И тот, — он кивнул на Бориса, — кашляет по ночам, синеет, когда плачет. Я боюсь, что он не доживет до совершеннолетия.

Лизхен Шульц перекрестилась мелким, торопливым крестом, укрыла мертвое тельце белой простыней, которая мгновенно пропиталась кровью — тонкой, сукровичной, почти прозрачной. Она подняла его с осторожностью, будто несла сосуд с водой, который мог расплескаться в любой миг. На ее губах шевелилась молитва на немецком, которую она помнила с детства, и слова эти были такими же древними, как трещины на штукатурке. Затем она бесшумно выскользнула, забрав с собой и тело, и загубленную надежду, и в комнате сразу стало пусто, будто из нее вынули последний живой звук.

В комнате остались только князь, спящий ребенок и старый монах-иезуит, отец Бонифаций, который сидел в кресле у камина, сложив руки на круглом животе, и читал книгу с

таким видом, будто смерть была для него всего лишь скучной заметкой на полях. Его черная сутана лоснилась от старости, на локтях была заштопана грубой нитью, а на воротах темнело маслянистое пятно от свечного жира — он не замечал таких мелочей, считая их недостойными внимания. Но на пальце, унизанном перстнями, поблескивал аметист, в котором играли отсветы угасающего огня. Камень был огранен особым образом — так, что при повороте внутри него загорался алый, кровавый отблеск, словно в глубине тлел уголек.

Отец Бонифаций был невысок, коренаст, с лицом, напоминающим перезревшую грушу — желтоватым, в мелких морщинах, с тяжелыми веками, почти всегда прикрытыми. Его нос с горбинкой, напоминающей клюв хищной птицы, постоянно подергивался, словно он принюхивался к чему-то невидимому. Редкие волосы, седые, с желтизной, были зачесаны на лысину и прикрыты скуфьей, которая съезжала на бок. Голос его, когда он начинал говорить, был маслянист и вкрадчив, как шелест змеи по сухой траве, и сочился между словами, оставляя липкий след.

— Ваше сиятельство, — голос иезуита прошелестел в тишине, и князь вздрогнул — он почти забыл, что этот человек здесь. — Вы звали меня. Вы хотите знать, почему ваш род чахнет. Зачем же прятать правду под полую сюртука? Правда, как накипь, проступает сквозь любую ткань. Я вижу, как вы смотрите на колыбель, князь. Ваши глаза — как у человека, который пытается разглядеть дно в мутной воде. Но я

могу дать вам кристально чистую воду.

— Я звал вас читать письмо, — резко бросил князь, но голос его дрогнул, и он сам испугался этой дрожи. Он ненавидел, когда его заставляли врасплох, особенно в такой час, особенно в таком состоянии. — Я не звал вас для обличений и богословских проповедей. Ваше дело — переводить, а не пророчествовать. Вы здесь как специалист по древним языкам, а не как духовник. Вы помните это, отец Бонифаций?

— Ах, письмо... — отец Бонифаций поднялся, его сутана бесшумно скользнула по персидскому ковру, не потревожив ни единой ворсинки. Он передвигался с той особой плавностью, которая свойственна людям, привыкшим прятаться по углам, но всегда оказываться в нужном месте. Он подошел к столу, на котором лежал раскрытый ветхий манускрипт. Бумага была желта, как старая кость, и края ее осыпались трухой при малейшем прикосновении. Рукопись была татарской, с вязью, напоминающей узоры на старых саблях, и стянута серебряной цепочкой, почерневшей от времени. — Ваше письмо — всего лишь копия, князь, сделанная нерадивым писцом, который перепутал даты и имена. А вот это — подлинник. Из архива казанского ханства, вывезенный вашим дедом, когда он брал город. И оно говорит не о политике и не о наследстве. Оно говорит о сделках, которые заключают с высшими силами, когда отчаиваются.

Князь подошел ближе. Свеча бросила отсвет на страницу, и в этом свете вдруг вспыхнул, заиграл холодным внутрен-

ним огнем рисунок — перстень с огромным камнем, неправильной формы, с гранями, которые были слишком остры, словно их высекли не для красоты, а для резания. Камень был голубовато-зеленого цвета, с мутной глубиной, в оправе из пожелтевшего золота, на котором угадывались стертые письма. Он был нарисован так тщательно, с такой любовью к каждой трещинке и блику, что казалось, будто художник сам держал его в руках и боялся выпустить.

— Султановский алмаз, — выдохнул Юсупов, и в его голосе проскользнула не надежда, а леденящий ужас. Его пальцы сами собой потянулись к перстню на собственной руке, но он сдержался, сжав ладонь в кулак. — Но он же... он у нас. В сейфе. За тремя замками. Я сам видел его в день свадьбы, когда отец передал мне символ рода. Я держал его, отец Бонифаций. Я чувствовал его тяжесть. Он был холодным, как лед, и внутри него, казалось, двигался свет, когда я поворачивал его.

— Нет, ваше сиятельство. — Иезуит улыбнулся той тонкой, почти невидимой улыбкой, которая делала его лицо похожим на череп, обтянутый желтой кожей. Он поднес палец к рисунку и провел по нему, оставляя на пергаменте жирный след. — В вашем сейфе — ограненный бриллиант, подарок турецкого посла, подделка под старину. Красивый, дорогой, но мертвый. Просто камень, без истории. Ваш дед был умным человеком, князь. Он понял, что алмаз приносит смерть, и заменил его искусной копией, когда узнал правду.

Настоящий камень — он исчез. Его украли, или он сам ушел, потому что не хотел служить вашему роду. Но даже копия, даже память о нем, хранит частицу проклятия. Понимаете? Проклятие не в камне. Оно в знании о камне.

— Украли? — Князь схватился за край стола, и его пальцы побелели, впиваясь в дерево. — Кто? Когда? Это была семейная реликвия! Ее передавали из рук в руки, от отца к сыну, в течение двухсот лет!

— И каждый раз, — спокойно продолжал иезуит, — с ней передавали смерть. Вы знаете историю своего рода, князь. Вы знаете, что ваш прадед умер в тридцать два, ваш дед — в сорок один, ваш отец — в пятьдесят. Вы единственный, кто пережил шестой десяток. Но вы платите за это. Платите сыновьями. — Он ткнул пальцем в рисунок, и ноготь его, желтый и длинный, царапнул пергамент с сухим, скрипящим звуком. — Говорят, этот алмаз был глазом идола в храме за Волгой, пока хан не повелел вырезать его, чтобы унижить побежденных. И тогда идол умер, а хану явился старец в рубище и сказал: «Тот, кто возьмет этот глаз себе, заплатит за него кровью первого сына. И так до скончания века, пока камень не вернется в землю и не прорастет травой, ибо глаз должен видеть только небо».

— Глупости, — хрипло сказал князь, но его рука, лежавшая на столе, мелко задрожала, и он поспешно сжал ее в кулак. В кулаке захрустели суставы, и этот хруст разнесся по комнате, как треск ломающейся кости. — Век Просвещения,

черт побери! Мой друг Дидро смеялся бы вам в лицо. Он называл такие сказки «пищей для невежд». Я не верю в проклятия, я верю в химию, физику, в законы природы. Мальчики умирают от дурного воздуха, от нечистой воды, от того, что в этом доме сквозняки и сырость!

— Ваш друг Дидро, — мягко парировал иезуит, — умер. От обжорства, если мне не изменяет память. Он съел артишок, который ему не следовало есть, и его желудок отказал. А мальчики ваши рождаются и умирают не от сквозняков, князь. Сквозняки не убивают трех детей подряд. Посчитайте, князь. Ваш отец? Один. Ваш дед? Один. Ваш прадед? Один. — Он захлопнул манускрипт, и пыль веков взметнулась золотым облаком, осев на плечах князя и на его седых, зачесанных назад волосах. — Но есть нюанс. Проклятие, как любой договор, можно переписать, если знать, кто его держит. И если предложить замену.

Князь молчал. Он смотрел на закрытый манускрипт, на серебряную цепочку, которая поблескивала в свете камина, и чувствовал, как пот стекает по его спине, пропитывая тонкий батист рубашки. В груди что-то сжалось, будто сердце схватили ледяной рукой. Он вспомнил своего первого сына, который умер в колыбели на третью ночь, синий, с пеной на губах. Вспомнил второго, который не прожил и месяца. И теперь этот — третий.

— Что значит «переписать»? — глухо спросил он, и голос его сорвался на шепот. Он опустился в кресло — то самое,

где сидел иезуит, — и запустил пальцы в волосы, сдавливая виски так, что побелели костяшки. — Вы говорите как язычник, отец Бонифаций. Вы говорите о договорах с дьяволом. Но я христианин. Я ношу крест на груди.

— Христианство, — иезуит наклонился к нему, и его лицо оказалось так близко, что князь почувствовал запах старого табака, чеснока и сухих трав, которыми он лечил свои больные суставы. — Христианство — это тоже договор, князь. Ветхий Завет — это договор с Авраамом. Новый Завет — это договор со всеми. Почему же вы боитесь заключить договор малой силы, чтобы спасти большую? Ваш род — ваша святыня. Ваш сын Борис — ваше будущее. И вы готовы позволить ему умереть, потому что вам страшно произнести одно слово?

— Какое слово? — прошептал князь, и в его глазах блеснула надежда — страшная, животная надежда человека, готового на все ради выживания. Эта надежда была похожа на пламя, которое дает свет, но обжигает руки.

— Замена, — выдохнул иезуит. — Если камень был взят насилием, его нужно вернуть с любовью. Или... его можно заменить. Алмаз не знает разницы между настоящей кровью и поддельной, если подделка сделана с душой. Сделайте так, чтобы проклятый перстень был у другого. У того, кто не связан с вашей кровью. И тогда все беды уйдут к нему, как вода уходит в песок. Это не магия, князь. Это — психология. Вера, внушенная с правильным символом, творит чудеса. Вы

просто переложите бремя.

— У другого? — Князь вскинул голову, и его глаза загорелись. — У кого же? У врага? У чужака? У человека, который желает нам зла? Кто достоин такого дара? Кто станет сосудом для проклятия?

— Выбор, ваше сиятельство, — улыбнулся иезуит, забирая манускрипт и пряча его в складки сутаны, рядом с четками и маленьким кинжалом, который он всегда носил с собой. Кинжал был тонкий, с рукоятью из слоновой кости, на которой была вырезана голова Медузы. — Всегда есть тот, кто слишком любопытен. Сын управляющего, например. Латынь, счет, глаза... Он уже смотрит не так, как надо. Он видит слишком много. Я заметил его еще вчера в библиотеке. Он перелистывал книги по астрономии, хотя его пальцы были черны от сажи. Переложите на него камень — не физически, а символически, через обряд, через слово, через пергамент. И проклятие уйдет из вашего рода. — Он поднял палец с длинным желтым ногтем, и его голос стал твердым, как сталь. — Но помните, князь. Если камень будет уничтожен или потерян, проклятие вернется и ударит с удесyтеренной силой. Не по крови, а по духу. По тому, кто его носит. И тогда никто не выживет.

Князь молчал долго. Дождь за окном стих, и в тишине было слышно, как в соседней комнате акушерка тихо поет псалом над мертвым телом, и голос ее дрожит на высоких нотах. Слышно было, как мышь скребется за обоями, и как капли

воды падают с карниза на подоконник. Николай Борисович подошел к колыбели, посмотрел на Бориса, на его тонкую, прозрачную шейку, на едва заметное биение жилки на виске, на то, как ребенок сосет палец во сне, ища защиты, которой у него не было. На щеке младенца лежала тень от кружевного балдахина, и она казалась синяком.

— Миша, — прошептал он одними губами, и губы его побелели. — Михаил Вронский... Прости, мальчик. Ты не виноват. Ты просто оказался слишком близко, слишком внимательным. Но я спасаю свой род. Я не могу позволить ему умереть. Я должен сохранить хотя бы Бориса. — Он перекрестился дрожащей рукой. — Если Бог простит мне эту жертву.

Он не знал тогда, что этот двенадцатилетний мальчик стоит под дверью, прижавшись ухом к дубовой филенке, и слышит каждое слово. Миша не ушел. Он затаился в тени колонны, когда скрипнула половица, и слушал, затаив дыхание, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле, как пот струится по спине и холодный камень страха ложится на дно желудка. Он слышал все — и про замену, и про камень, и про то, что его имя теперь связано с чужой бедой. Он слышал, как иезуит смеется тихо, с присвистом, и как князь тяжело дышит.

Миша медленно, бесшумно отступил на цыпочках к лестнице. Его деревянные башмаки, грубо сшитые, были столь бесшумны потому, что он научился ходить, как тень, за два года жизни в этом доме, где каждый лишний звук мог сто-

ить ему порки или лишения ужина. В его голове уже не было страха. Страх вытеснила холодная, математическая ясность, которая всегда приходила к нему в самые трудные минуты — та самая ясность, с которой он разбирал шахматные задачи в старой книге, найденной на чердаке: «Они хотят сделать меня сосудом для чужого проклятия. Значит, я должен стать тем, кто поймет природу проклятия раньше, чем они успеют его переложить. Я должен узнать все о камне, о роде, о том, что скрыто в архивах. У меня есть время — пока они не совершили обряд».

Он остановился на верхней площадке лестницы, там, где висел портрет прадеда в мундире и с орденами, и посмотрел на свое отражение в потемневшем стекле. Оттуда на него глянул мальчик с бледным, заостренным лицом, с прозрачными, почти белесыми глазами, в которых уже не было детской невинности. Он был худ, угловат, его руки были вечно в царапинах и ссадинах, на локтях рубашка была заштопана, а воротник мятый. Но в его взгляде застыла сталь, которую он сам в себе не подозревал — та самая сталь, которая появляется у людей, рано узнавших цену чужим словам.

На лестнице, внизу, его ждал сверстник — толстощекий, румяный Алешка Строганов, сын соседнего помещика, который приехал на неделю в гости к Юсуповым. Алешка был на два месяца старше Миши, но выглядел на полгода младше — такой же шумный, порывистый, с вечно растрепанными волосами цвета спелой пшеницы и привычкой хватать все

руками, прежде чем подумать. Он сидел на нижней ступеньке, сонный, его голова клонилась к перилам, а рука сжимала деревянную саблю, которую он ни за что не выпускал, даже во сне. Одежда на нем была дорогой — синий сюртучок с золотыми пуговицами, который ему сшили к Новому году, и он постоянно задирался, обнажая полосатый жилет. Пуговицы были медные, с гербом Строгановых — два соболя, держащих щит. Он при виде друга восторженно вскрикнул, протер глаза кулаком, зевнул так, что щелкнула челюсть.

— Мишка! — шепотом заорал Алешка, хватая Мишу за рукав домотканого сюртучка. В его голосе звучала тревога, смешанная с детским нетерпением. — Ты чего такой бледный, как вареный рак? Опять старый поп страшные сказки рассказывал? Ты весь дрожишь! У тебя зубы стучат, я слышу! Что там наверху? Опять умер кто-то? Я слышал крики, когда мы с тобой бежали к лестнице. Там мать рыдала, как будто ее резали! Я хотел подняться, но меня не пустили, дядька Архип сказал, что там женское дело.

— Нет, Леша, — тихо сказал он, и голос его звучал глухо, как из колодца, и этот звук не походил на обычный Мишин голос — в нем появились низкие, хриплые ноты, будто он внезапно повзрослел на десять лет. — Сказки кончились. Начинается настоящая история. И мы в ней — не зрители. Мы — действующие лица. Они хотят переложить на меня проклятие, Леша. Понимаешь? Проклятие этого дома.

— Какие еще лица? — фыркнул Алешка, пытаясь казать-

ся беспечным, но в его голосе уже скользила тревога, которая заставляла его сжимать саблю крепче, до боли в пальцах. Он подошел ближе, почти вплотную, и Миша почувствовал запах его одеколона — дешевого, но приятного, с нотками лимона и можжевельника. — Ты меня пугаешь, Мишка. Ты как будто знаешь что-то, чего я не знаю. Мы же друзья! Говори! Я взрослый, я все пойму. Я уже почти офицер, меня папа записал в гвардию, хотя я еще маленький, но он говорит, что мужчина должен знать все.

— Потом, — покачал головой Миша, и в этом жесте было столько усталой решимости, что Алешка прикусил язык. Его глаза стали влажными, но он не заплакал — он был Строганов, а Строгановы не плачут. — Все потом. А сейчас... сейчас нам нужно спать. И думать. Много думать. Я должен запомнить каждое их слово. Я уже запомнил. Мне нужно все записать, пока не забыл.

Он сжал кулак, и под ногтями его — детских, тонких, с заусенцами от постоянной работы на кухне, от ношения дров и мытья посуды — остался след от пергамента, которым он провел пальцем, когда откладывал дневник погоды. След древней, желтой бумаги. След проклятия, которое только что назначило его своей мишенью. И в этом следе ему почудился не просто песок веков, а что-то живое, пульсирующее, требующее ответа. Ему показалось, что он чувствует холод, исходящий от этого следа — тот самый холод, который он ощутил, когда поднес руку к закрытому манускрипту.

Алешка ничего не понял, но он доверял другу так, как доверяют только в детстве — безоглядно, слепо, со всей горячностью юного сердца. Он вздохнул, зевнул, хлопнул Мишу по плечу своей ладонью — шире, грубее, мозолистой от ранних игр с деревянной саблей, от постоянных драк и падений. На его ладони был шрам — отметина от того, как он упал с забора в прошлом году, пытаясь достать кота.

— Ладно, — проворчал он, — пошли. Только уговор: завтра ты мне все расскажешь. По-честному. Иначе я с тобой не пойду ловить карасей в пруду. — Он помолчал, потом добавил, уже тише, прижимаясь к Мишиному плечу: — Ты мой друг, Мишка. Самый лучший. И если ты боишься — я буду бояться вместе с тобой. А если ты решил бороться — я буду драться. У меня кулаки железные. Сам знаешь. Я в прошлой драке одному помещицкому сынку нос сломал, когда он тебя дразнил.

Миша посмотрел на него с благодарностью, смешанной с болью. «Ты еще не знаешь, Леша, — подумал он. — Ты еще не знаешь, с чем нам придется драться. Это не помещицьи сынки. Это древнее зло, которое старше нас обоих. Но я не дам тебе умереть. Я не дам умереть никому из тех, кого люблю».

Они поднялись по лестнице, и их шаги затихли в коридоре, заставленном старыми шкафами, в которых хранились тайны, что были старше их обоих. Шкафы пахли нафталином, сухими листьями и еще чем-то неуловимым — может

быть, временем. В одном из них, Миша знал, хранились старые карты и чертежи, в другом — документы по имению, а в третьем, самом дальнем, который никто никогда не открывал, лежали бумаги, запечатанные черной сургучной печатью. Он видел эту печать однажды, когда искал забытый фонарь, и запомнил ее — на ней был тот же самый перстень, что и на рисунке в манускрипте.

А в библиотеке, наверху, князь Юсупов уже жег в камине копию письма, глядя, как огонь пожирает бумагу, и шептал: «Прости, мальчик. Прости. Но я должен». Иезуит сидел в кресле, сложив руки на животе, и улыбался в темноту. Он знал, что мальчик слышал. Он знал, что мальчик запомнил. И он знал, что именно такие мальчики, с такими глазами, становятся либо великими сыщиками, либо великими преступниками. И те, и другие ему были полезны.

Глава 2

Архангельское, усадьба князей Юсуповых. 1797–1802 годы.

Вронских в усадьбе Юсуповых не любили. Не потому, что они были плохими слугами — Аркадий Вронский вел имение с такой педантичной аккуратностью, что князь называл его «моим Бентамом», намекая на знаменитого юриста, — а потому, что в их присутствии у людей возникало неприятное чувство, будто их читают, как раскрытую книгу, хотя они не произносят ни слова. Ощущение это было сродни тому, когда внезапно понимаешь, что за тобой наблюдают из темного угла, хотя там никого нет. Вронские умели молчать так, что молчание их становилось громче чужих слов, и это пугало.

Аркадий Вронский, отец Миши, был человеком тихим, аккуратным до педантичности, с вечно опущенными глазами и пальцами, которые никогда не дрожали, даже когда он подписывал бумаги, решающие судьбу целых деревень. Его руки, широкие, с квадратными ногтями, вечно пахли чернилами и сургучом — он сам запечатывал все письма, не доверяя эту работу писарям. Он носил потертый, но чистый сюртук темно-зеленого цвета, который ему сшили еще в те времена, когда он служил в Сенате, и хранил его как память о лучших днях, когда он был не управляющим, а самостоятельным человеком. Сюртук был заштопан на локтях так ис-

кусно, что швы были почти не видны, но, если приглядеться, можно было заметить более светлые нити — мать Миши, Мария, проводила за шитьем долгие вечера, когда муж возвращался из объездов уставший и молчаливый.

В его кабинете всегда пахло чернилами, воском и сухими травами — он верил, что запах мяты и полыни отпугивает моль и дурные мысли. На столе, покрытом зеленым сукном с вытертыми краями, всегда стояла чернильница из темного стекла, рядом с ней — гусиное перо, которое он чинил каждое утро, даже если не собирался писать. Это был ритуал, его маленькая святыня, которую он соблюдал неукоснительно. У него была привычка поправлять очки — круглые, в тонкой серебряной оправе, — когда он говорил неправду, и Миша рано научился замечать эту деталь. К счастью, отец врал редко — только тогда, когда нужно было защитить семью от гнева князя, или когда скрывал от матери, что в имении опять неурожай.

Мария Вронская, мать Миши, была женщиной тихой, почти незаметной, с бледным лицом и вечно усталыми глазами, в которых застыла та особая печаль, которая свойственна женщинам, пережившим слишком много потерь. Она была дочерью обедневшего священника, и в ней еще сохранилась та особенная, церковная плавность движений, которая не исчезала даже когда она месила тесто или зашивала отцовские рубашки. Ее руки всегда пахли тестом, свежей выпечкой и немного — ладаном, потому что она каждое утро зажигала

лампадку перед образом Николая Чудотворца, висевшим в красном углу их маленькой комнаты. Лампадка горела с рассвета до глубокой ночи, и Миша, просыпаясь, всегда видел этот огонек, дрожащий в полумраке, как символ надежды, которую мать хранила даже в самые темные дни.

— Миша, ты опять не спишь? — голос матери доносился из-за тонкой перегородки, разделявшей их каморку на две половины. Голос был тихим, с легкой хрипотцой — она часто болела грудью, особенно в сырые осенние ночи, когда ветер задувал в щели окон. — Ты же знаешь, утром тебе на кухню помогать, нельзя не выспаться. Кашель опять мучает?

— Нет, мам, — тихо отвечал Миша, глядя в окно на черное небо, усыпанное редкими, холодными звездами, которые казались булавками, воткнутыми в бархат. — Я просто думаю. О завтрашнем дне.

Он не говорил ей, о чем именно он думает. Он не говорил ей, что слышал, как князь и иезуит обсуждали замену. Он не говорил ей, что нашел в библиотеке, когда случайно перебирал старые карты, свернутый в трубочку пергамент с тем самым рисунком перстня — рисунком, который он запомнил так четко, будто выжег его на внутренней стороне век. Он не говорил ей, что уже начал вести свой собственный дневник, зашифрованный так, что никто, кроме него, не мог бы его прочитать. Он использовал для шифра смесь кириллицы и латыни, вставляя между буквами цифры, означающие страницы из Библии, которые у него были под рукой. Это было

изобретение, рожденное отчаянием и умом.

Михаил Аркадьевич Вронский родился в год, когда Екатерина II отправила на тот свет Пугачева, и, казалось, вместе с молоком матери впитал в себя ту особую, северную настороженность, которая отличает людей, выросших в тени чужого величия. Он был мал ростом для своих лет, худ, с острыми, чуть выступающими ключицами, которые проступали сквозь тонкую ткань рубашки, когда он дышал. Его лицо, бледное, с легкой прозеленью у висков, напоминало старую икону, которую долго держали в сыром подвале — черты были тонкими, почти женскими, но глаза портили всю картину. Они были слишком светлыми, почти бесцветными, с сероватым отливом, как вода в омуте перед грозой, и в них никогда не было той беззаботной детской глубины, которую так любят взрослые. Глаза Миши были как две льдинки, в которых отражался холодный свет луны, и они не улыбались, даже когда улыбались губы.

Слуги шептались за его спиной: «У этого мальчика взгляд как у старого следователя. Он не смотрит — он ощупывает. Будто видит тебя насквозь, до самых костей, до самых потаенных мыслей». Миша слышал эти шепоты, но не обижался. Он знал, что они правы. Он действительно видел больше, чем ему следовало. Он видел, как дворецкий прячет серебряную ложку в карман, когда думает, что никто не смотрит. Он видел, как графиня Марья Петровна плачет в саду по ночам, прижимая к груди старую детскую распашонку. Он ви-

дел, как старый князь перебирает бумаги в библиотеке и улыбается той горькой, кривой улыбкой, которая никогда не появляется при свете дня. Он видел всё, но молчал. Молчание было его щитом, его крепостью, его единственным оружием против мира, который был слишком силен для него одного.

В раннем детстве он пытался говорить о том, что замечал — с отцом, с матерью, с гувернером-швейцарцем, которого князь нанял для детей прислуги. Но каждый раз его слова встречали либо испуганное молчание, либо резкое «Не выдумывай, Миша, тебе показалось». Гувернер, старый Карл Иванович, даже наказал его однажды за «чрезмерное любопытство», заставив стоять на коленях на горохе целый час. И тогда Миша понял: правда в этом доме опасна. Лучше смотреть и запоминать, чем говорить и рисковать. Он завел себе привычку — по ночам, когда все засыпали, он садился на подоконник в своей маленькой комнате под самой крышей, где пахло сухой древесиной и мышами, и перебирал в уме все увиденное за день, раскладывая по полочкам: причина — следствие, лицо — жест — намерение. Это стало его игрой, его тайной страстью, его способом выживания.

Он заметил, что князь по утрам пьет кофе с молоком, но, если кофе горький, он морщится и отодвигает чашку. Он заметил, что иезуит всегда входит в библиотеку с левой ноги и трижды стучит по косяку, прежде чем переступить порог. Он заметил, что молодая графиня боится грома и при каждом раскате прижимает руки к груди так, будто ее сердце

выпрыгивает наружу. Эти маленькие, незначительные детали складывались в огромную мозаику, которую он хранил в своей голове, как сокровище.

Но самым главным его открытием была история с перстнем. Он не мог забыть тот рисунок, ту неправильную, почти зловещую форму камня, ту вязь на пергаменте. Он начал искать в отцовских книгах упоминания о султановском алмазе, об истории рода Юсуповых. Он читал ночами при свете свечного огарка, который украдкой приносил с кухни, и делал выписки, которые потом прятал в дупле старого дуба, том самом, где они встречались с Соней. Он стал экспертом по проклятиям — не потому, что верил в них, а потому, что хотел понять логику страха, который движет людьми сильными и богатыми. Он знал: если понять, чего боится человек, можно предсказать его следующий шаг.

Алексей Строганов появился в жизни Миши случайно — как гроза в июле, неожиданно и с треском, оставляя после себя мокрые следы на земле и ощущение, что мир стал чуточку громче. Его отец, Петр Ильич Строганов, дальний родственник той самой графской ветви, что владела соляными промыслами и миллионами, приехал в Архангельское с визитом, чтобы обсудить с князем совместную аренду лесных угодий. Он привез с собой жену, которая была на сносях, и троих детей — двух дочерей и сына, который был самым младшим из всей оравы, но при этом самым шумным и неугомонным. Его крики было слышно за версту, и лакеи в передней перегля-

дывались, когда он пробежал мимо, сбивая со столиков вазы.

Алексей Петрович Строганов был полной противоположностью Миши. Кряжистый, коренастый, с волосами цвета спелой пшеницы, которые вечно лезли ему в глаза, и глазами карими, как лесной орех, в которых всегда горела какая-то бесшабашная искра. Он родился с криком, который, по словам его матери, «перепугал всех голубей в округе», и с тех пор не переставал издавать звуки. Он говорил громко, смеялся так, что дребезжали стекла в сервантах, и никогда не умел притворяться. Его лицо было открытой книгой, где каждое чувство было написано крупными, жирными буквами. Если он злился — он краснел до корней волос, и эта краснота поднималась от шеи до самых ушей, делая его похожим на перезрелый помидор. Если радовался — он подпрыгивал на месте, размахивая руками, как ветряная мельница. Если он говорил «да», это означало «да» и только «да». Он не знал полутонов, оттенков, двусмысленностей. Мир для него был черно-белым, как шахматная доска, только фигуры на ней были живые и двигались слишком быстро.

Одежда на Алешке всегда была дорогой, но в беспорядке. Синий сюртучок, сшитый по последней парижской моде, пуговицы — настоящие серебряные, с гравировкой в виде двух соболей, держащих щит. Но на локтях сюртук уже лоснился, потому что Алешка имел привычку опираться на них, когда читал. Жилет — полосатый, яркий, как зебра, — вечно был расстегнут на нижнюю пуговицу, потому что он объ-

едался пирожками на кухне. Сапоги с отворотами были вечно в грязи, несмотря на все просьбы няньки, и Алешка гордился этим, считая, что сапоги должны пахнуть лошадьми, а не паркетом.

Слуги в усадьбе сначала невзлюбили его за шум, но потом привыкли. Он никогда не просил воды, которая ему не нужна, и никогда не врал о том, чего не сделал. Его невинность была почти болезненной — такой, что взрослые иногда смущались в его присутствии. Он мог спросить у графини прямо в лицо: «А почему вы сегодня грустная, мадам? У вас глаза красные, как у кролика, и вы ни разу не улыбнулись за весь обед». И графиня, вместо того чтобы рассердиться, внезапно начинала улыбаться и гладить его по голове, потому что в его словах не было злобы, была лишь та детская прямота, которая обезоруживает любую фальшь.

Их первая встреча произошла на заднем дворе, у кухни, где Миша мыл посуду после обеда. Алешка, который сбежал от няньки и исследовал территорию, увидел худого мальчика с ведром и остановился, как вкопанный. Он смотрел на Мишу с тем же любопытством, с каким смотрел на жука, переворачивая его палкой.

— Эй, — крикнул он, подбегая, и его голос прозвенел, как колокольчик, — а ты чего это тут с водой возишься, как баба? Пойдем лучше на пруд, там утки! Я видел, их там целая стая! И утята маленькие, желтые! А если палка есть, можно стрелять, как из ружья! Я сам стрелял, правда, из рогатки,

но это почти тоже самое!

Миша поднял голову. Он уже знал, что этот мальчик — сын богатого помещика, и что к нему нужно относиться с осторожностью. Но в голосе Алешки не было надменности — было живое, почти щенячье любопытство, смешанное с той особенной беспечностью, которая свойственна детям, никогда не знавшим голода и холода.

— Мне нельзя, — сухо ответил Миша, вытирая руки о фартук, который был ему велик и постоянно съезжал на бок. — У меня работа. Тарелки еще не перемыты. А если я не перемою, меня накажут.

— Вот еще! — фыркнул Алешка, хватая Мишу за локоть. Его хватка была сильной, чуть ли не до боли, и Миша почувствовал, как пальцы Алешки впиваются в его тощую руку. — Ты что, холоп, что ли? Ну, барин говорит «надо» — а ты делай, а я говорю «не надо» — не делай! Я тебя прикрою. Скажу, что сам позвал. У меня отец — друг князя. Мне все можно. Я даже могу тебя наказать, если не пойдешь, а могу и не наказывать. Решай!

Миша недоверчиво посмотрел на него. В этом голосе не было подвоха, не было той скрытой усмешки, с которой над ним часто подшучивали старшие мальчики. И это сбивало с толку. В этом доме каждый что-то скрывал, каждый играл свою роль, каждый носил маску. А этот мальчик просто стоял и улыбался, как будто мир действительно мог быть простым, как прямая дорога в поле.

— Ты дурак, — сказал Миша, и слова вырвались сами собой, без злобы, а скорее с удивлением, смешанным с легкой завистью. — Ты вообще понимаешь, что здесь происходит? Этот дом — как паутина, Леша. И мухи здесь все, кроме пауков.

— А что здесь происходит? — удивился Алешка, и его брови поползли вверх. Он нахмурился, пытаясь понять загадку, которую только что услышал. — Я только приехал. Дом большой, красивый. Наверху вроде ребенок маленький, которого все боятся разбудить, но он никогда не плачет, что странно. Еще старая тетка с клюкой ходит и все кого-то ищет. А больше ничего. Ну, и ты тут с тарелками возишься.

— Больше ничего, — горько усмехнулся Миша, опуская руки в воду. Вода была холодной, с коричневым отливом от жира, и пахла кислым, как прокисшее молоко. — Хорошо. Будем считать, что ничего. Иди к уткам, Леша. Тебе там будет веселее.

— Ты чудной, — заявил Алешка, садясь на корточки рядом с ним. Он не уходил. Он сел прямо на мокрую землю, не боясь испачкать синий сюртук, и заглянул Мише в глаза. — Но мне нравится. Ты как из книжки. Секретный какой-то. Ты, наверное, тайны знаешь, да? Слушай, а хочешь, я тебе свою саблю покажу? Настоящая, правда деревянная, но рукоять из кожи! Папа в Петербурге купил. Говорят, по ней даже можно фехтовать учиться. Хочешь? А потом я покажу тебе уток.

И Миша, сам не зная зачем, улыбнулся впервые за последние полгода. Улыбка вышла кривой, неуклюжей, как у человека, забывшего, как это делается, но она была настоящей. Алешка заметил эту улыбку и радостно хлопнул Мишу по плечу, чуть не столкнув его в ведро.

— Вот и славно! — крикнул он. — А ты говоришь «нельзя»! Все можно, если есть друг!

Так началась их дружба — с ведра холодной воды, невысказанной тайны и деревянной сабли, которой Алешка клялся защищать Мишу от всех обидчиков мира. Алешка не спрашивал, почему Миша грустный. Он просто был рядом. Он сидел с ним на ступеньках, когда Миша мыл посуду, рассказывал глупые истории про море и пиратов, про то, как его отец возил его в Петербург и показывал слона в зверинце, про то, как он упал с дерева и сломал руку, но не плакал. И Миша впервые почувствовал, что такое *доверие*. Это было похоже на то, как если бы в темной комнате зажгли свечу — маленькую, но настоящую, которая не боялась тени.

Алешка, в свою очередь, тянулся к Мише с той жадностью, с какой тянутся к теплу, когда замерзли. Он чувствовал в нем ту глубину, которую не мог найти ни в ком другом — ни в отце, занятом делами, ни в сестрах, вечно возившихся с куклами. Миша был загадкой, а Алешка любил загадки. Он любил слушать, как Миша рассуждает о звездах, как водит пальцем по карте и говорит: «Вот здесь, Леша, огонь, который не гаснет уже тысячу лет. А здесь — планета, на кото-

рой, может быть, есть жизнь». Алешка ничего не понимал в астрономии, но он чувствовал, что Миша говорит о чем-то важном, о чем-то, что больше их обоих.

— Ты станешь кем-то великим, Мишка, — сказал он однажды, когда они сидели на чердаке, глядя на закат через маленькое, запыленное окно. — Я это знаю. Ты видишь то, чего не видят другие. А я буду стоять у тебя за спиной и следить, чтобы никто не ударил сзади.

— Ты мой щит, Леша, — ответил Миша, и в его голосе не было иронии. — А я — твои глаза. Вместе мы можем всё.

И они ударили по рукам, скрепив этот союз так, как дети скрепляют самые важные клятвы — всерьез, навсегда, до гроба.

Софья Николаевна Юсупова была кузиной наследника Бориса и приходилась князю племянницей по младшей линии. Ее мать умерла при родах, оставив девочку на попечение старой няньки, которую в усадьбе называли «бабой Тасей». Тася была женщиной с лицом, похожим на печеное яблоко, — все морщины и складки, — и голосом, который мог остановить лошадь на скаку. Она курила трубку по вечерам, что для женщины было неслыханной дерзостью, но князь прощал ей эту слабость, потому что Тася была единственной, кто мог успокоить Соню, когда та плакала по ночам. Тася научила девочку играть на фортепиано — старом, расстроенном инструменте, который стоял в гостиной и который никто не настраивал уже лет двадцать. Клавиши на нем пожелтели,

некоторые западали, но Соня играла на нем так, что слезы наворачивались даже у самого черствого дворецкого.

Девочка была тоньше, чем следовало бы в ее возрасте: хрупкая, с длинными пальцами пианистки, которые, казалось, сами собой искали клавиши, даже когда она просто сидела за столом. Ее кожа была бледной, почти прозрачной, с голубоватыми жилками на висках, и когда она волновалась, на щеках выступал легкий, едва заметный румянец. Ее глаза были темными, как спелая вишня, с влажным блеском, и в них всегда жила какая-то тревожная глубина. Она умела слушать тишину — слышать то, что не было сказано, улавливать те ноты, которые звучали между словами. Когда она входила в комнату, все невольно умолкали, потому что ее присутствие само по себе было музыкой. Она носила платья из светло-голубого муслина, которые делали ее похожей на призрака, и всегда, даже в самые теплые дни, накидывала на плечи шаль, потому что мерзла от внутреннего холода, который никто не мог объяснить.

Она не любила шумные игры, не любила, когда на нее кричат, и не выносила фальши. Она могла заплакать, если кто-то говорил неправду — как будто сама ложь, как диссонанс в музыке, резала ее слух. Именно поэтому она избегала Феликса Друцкого, который, по ее словам, «пахнет скисшим молоком, даже когда он в новой рубашке». Она не могла объяснить, откуда берется этот запах в ее восприятии, но он был реален, как звук расстроенной струны.

Именно она первая заметила Мишу. Не как сына управляющего, не как прислугу, а как личность. Это случилось в библиотеке, куда Миша пришел за новой порцией свечей для отцовского кабинета. Он стоял у стеллажа с книгами по астрономии, смотрел на карту звездного неба, водя пальцем по линиям созвездий, и в этот момент в библиотеку вошла Соня. Она была одна, без няньки, и двигалась так бесшумно, что Миша не слышал ее шагов по толстому ковру.

— Ты умеешь читать карты? — спросила она тихо, и Миша вздрогнул, обернувшись. Ее голос был похож на колокольчик, обернутый тканью — звонкий, но приглушенный.

— Немного, — ответил он, не оборачиваясь, потому что боялся, что она увидит его покрасневшее лицо. — Мне интересно, как они складывают небо на плоскость. Это как загадка. Нужно перевести круглое в плоское, и при этом не потерять звезды. Это почти невозможно, но они делают это.

— Ты любишь загадки? — Она подошла ближе, и Миша почувствовал запах ее духов — нежные, с нотками фиалки и ванили, и еще чем-то неуловимым, как запах дождя по мокрой листве. — Я тоже. Особенно те, на которые никто не знает ответа. Такие, которые живут сами по себе.

Он обернулся. Она смотрела на него не как на слугу — она смотрела как на равного. В ее глазах не было высокомерия, которое Миша привык видеть у господ. Было любопытство и какая-то странная, почти взрослая серьезность. Она рассматривала его так же, как он рассматривал карту — пы-

таясь понять, как устроен этот человек, из каких линий и координат он состоит.

— Я Миша, — сказал он, протягивая руку, и тут же испугался своей смелости. Как он смеет? Она же княжна! Его рука дрогнула, и он уже хотел убрать ее, но Соня опередила его.

— Я знаю, — сказала она, сжимая его ладонь — холодную, немного грязную от свечного жира, с заусенцами на пальцах. — Я знаю, кто ты. Ты сын Аркадия Вронского. Ты тот мальчик, который всегда смотрит в окно и о чем-то думает. Мне нравится, как ты смотришь. Как будто видишь что-то, что скрыто от всех. Что ты видишь там, за окном?

— Я просто смотрю, — ответил Миша, но голос его дрогнул, потому что она смотрела на него так, будто видела его душу. — Я смотрю на облака. На деревья. На то, как ветер гнет траву. Это помогает мне думать.

— Нет, — покачала головой Соня, и ее длинные волосы, заплетенные в косу, качнулись, упав на плечо. — Ты видишь. Это не одно и то же. Ты видишь то, что другие пропускают. Я тоже это умею. Только я слышу. Я слышу тишину так же, как ты видишь ветер. Мы вместе можем собрать целый мир, Миша.

— Ты говоришь как поэт, — улыбнулся Миша, и впервые за долгое время его улыбка не была кривой. — Как будто ты читаешь стихи, даже когда просто говоришь.

— Я не поэт, — серьезно ответила Соня. — Я просто...

слушаю. Слушаю, о чем молчат люди. Вот ты, например, молчишь о чем-то важном. Я слышу это. Твое молчание звенит, как натянутая струна. И однажды она лопнет, Миша. Я только хочу быть рядом, когда это случится.

С того дня они стали тайно встречаться у старого дуба в парке — огромного, с раздвоенной вершиной, где, по слухам, когда-то вешали неверных слуг. Дуб стоял на краю оврага, его корни, словно змеи, вросли в землю, и на нижней ветке была вырезана буква «V», сделанная сто лет назад неизвестным влюбленным. Вронский и Соня сидели на его корнях, говорили о книгах, о звездах, о тайнах, которые они собирали, как грибы после дождя. Соня приносила с собой маленький блокнот, куда записывала свои наблюдения, и Миша учил ее шифровать записи, чтобы никто не мог их прочитать.

— Если я когда-нибудь умру, — сказал Миша однажды, глядя на то, как луч солнца пробивается сквозь листву, — я хочу, чтобы ты знала: я не врал тебе никогда. Ни разу. Даже когда молчал — я молчал о правде, не о лжи.

— А если я умру? — переспросила Соня, заглядывая ему в глаза. — Что ты будешь делать? Ты будешь плакать, как все, или ты сделаешь что-то другое?

— Я найду того, кто тебя убил, — ответил Миша без колебаний, и его голос стал твердым, как сталь. — И я сделаю так, что он заплатит. Даже если для этого мне придется идти против всего мира, против самого императора. Я не оста-

новлюсь.

Она улыбнулась той грустной, странной улыбкой, которая была ей так свойственна, и протянула ему маленькую книжечку в зеленом бархатном переплете. На обложке была вытиснена золотая лира, и края страниц были позолочены, но сама книжечка была старой, потрепанной, со следами пальцев на корешке.

— Это мой дневник, — сказала она. — Только ты не читай его. Просто храни. Если со мной что-то случится — ты будешь знать. Все, что я вижу, все, что я слышу, все, что я *подозреваю*. Он как наш тайный архив, Миша. Только ты и я. Здесь есть ключи к тому, что происходит в доме. Я записываю все странные вещи, которые замечаю. Когда умерли те младенцы. Кто входил в комнату. Какие письма приходили. Я думаю, это важно.

— Клянусь дубом, — выдохнул Миша, принимая книжечку и пряча ее в нагрудный карман, туда, где билось его сердце. — Клянусь этой веткой, клянусь этим корнем. Я сохраню его. До самой смерти. И если кто-то попытается его отнять, я сначала умру, а потом отдам.

И эта клятва стала той нитью, которая связала их судьбы на долгие годы. Миша не знал тогда, что этот дневник станет не просто архивом, а оружием, которое однажды спасет ему жизнь и разрушит планы заговорщиков. Но он чувствовал это. Он чувствовал, что Соня — не просто подруга. Она — часть его самого, его совесть, его музыка, его тишина.

Граф Феликс Друцкой появился в Архангельском как черная тень — внезапно, без предупреждения, и сразу же заполнил собой все пространство. Ему было семнадцать, когда Мише исполнилось двенадцать, и эта разница в возрасте казалась пропастью, особенно потому, что Феликс вел себя как взрослый, но при этом имел привычки, которые выдавали в нем нечто ущербное, нечеловеческое. Он был как змея, которую пустили в дом — скользкая, холодная, опасная.

Он был высок, худ, с темными, вечно растрепанными волосами, которые падали на лоб, закрывая глаза, когда он злился. Его глаза — узкие, желтоватые, как у филина, с вертикальными зрачками, которые сужались на свету — никогда не выражали тепла. Даже когда он улыбался, улыбка была механической, как у актера, играющего роль, которую он ненавидит. Он носил дорогие одежды — черный бархатный сюртук с серебряным шитьем, белые кружевные манжеты, которые всегда были безупречно накрахмалены, сапоги из лучшей кожи, которые скрипели при каждом шаге, как будто они тоже были частью его театра. От него всегда пахло дорогим табаком — он курил трубку из черного дерева с янтарным мундштуком, — и этот запах был настолько сильным, что заполнял собой всю комнату, даже когда он только входил.

Он был дальним родственником Юсуповых по материнской линии и метил на место опекуна при наследнике Борисе. Для этого ему нужно было войти в доверие к старому

князю, показать себя верным и преданным. Но его методы были странными. Он не пытался понравиться — он пытался уstrasшить. Он хотел, чтобы все боялись его настолько, чтобы никто не смел перечить. Он считал, что страх — лучший клей, который может скрепить любую власть.

Миша впервые столкнулся с ним лицом к лицу, когда Феликс увидел, как Вронский вышел из библиотеки с книгой по астрономии. Миша нес книгу к себе в комнату, чтобы переписать оттуда несколько страниц о движении планет, которые могли пригодиться для его тайных вычислений. И в этот момент Феликс преградил ему путь.

— Это ты сын управляющего? — спросил он, перекрывая Мише дорогу. Его голос был низким, с хрипотцой, и в нем звучала плохо скрытая насмешка. Он смотрел на Мишу сверху вниз, как на жука, которого собирался раздавить.

— Да, ваше сиятельство, — ответил Миша, опуская глаза. Он уже знал, что с этим человеком лучше не смотреть в глаза. Но сердце его колотилось, как птица в клетке.

— И что же ты читаешь? — Феликс выхватил книгу из его рук, и Миша почувствовал, как кожа на его пальцах саднит от резкого движения. — Астрономия? Для чего тебе, холопу, смотреть на небо? Твое место — земля. Или, вернее, кухонный пол. Там, где ты моешь тарелки. Там, где твоя мать месит тесто. Там, где твой отец пресмыкается перед князем.

Он засмеялся — сухо, каркаяюще, и этот смех был похож на треск ломающихся костей. Потом он швырнул книгу на

пол, наступил на нее сапогом, оставив грязный след на обложке, и ушел, оставив Мишу одного в коридоре, где пахло сыростью и страхом.

Но это было только начало. Через неделю в усадьбе пропали золотые часы отца Миши — те самые, которые передавались в семье от деда, который был часовщиком в Петербурге, и были единственной ценностью, оставшейся от прежней жизни. Это были маленькие, круглые часы с эмалевым циферблатом, на котором были нарисованы незабудки. Они тикали так громко, что их было слышно по всей комнате, и Миша любил засыпать под этот тихий, ровный звук.

Феликс Друцкой был первым, кто «обнаружил» их в комнате Миши, спрятанными под подушкой. Он ворвался в комнату в сопровождении дворецкого и старого князя, который выглядел усталым и раздраженным.

— Смотрите! — крикнул он на весь дом, размахивая часами. — Сын управляющего вор! Он украл часы у своего же отца! Как подло! Как гнусно! Гнать его в шею! Выпороть! Вышвырнуть на мороз!

Миша стоял бледный, сжав кулаки, и смотрел на Алешку, который тоже был в этой комнате, стоял в углу, испуганный и растерянный. Алешка, который видел, что Феликс заходил в комнату Миши утром, когда Миша был на кухне. Алешка, который мог бы сказать правду. Но Алешка молчал. Испуганный, сжавшийся, он смотрел на Феликса и боялся даже слово вымолвить. Потому что Феликс был графом, а Миша

— никем. Потому что слово графа весило больше, чем правда бедняка.

И тогда Миша впервые ощутил ту ледяную, горькую правду, которую запомнил навсегда: невинный становится виновным в глазах толпы, если кто-то сильный скажет, что это так. Его выпороли на конюшне ремнем — сырым, тяжелым, — так, что на спине остались рубцы, которые никогда не заживали до конца. Он не кричал. Он стиснул зубы, сжал кулаки и смотрел в стену, где висела уздечка, и считал удары, как бой часов. Он сосчитал их — двадцать семь. Ровно столько, сколько лет было его отцу. И он запомнил каждое прикосновение ремня, как будто с каждым ударом в его голове запечатывалась новая строчка в книге мести.

Единственным, кто пришел к нему ночью, когда он лежал на соломе в каретном сарае и плакал от боли и унижения, был Алешка. Он принес ему мазь, которую украл у матери, — баночку с белой, пахучей субстанцией, которую использовали при ушибах, — и сидел рядом на корточках, шепча:

— Прости меня, Мишка. Я трус. Я должен был сказать правду. Я должен был заступиться за тебя. Я видел, как он клал часы под подушку! Я видел собственными глазами! Но я испугался. Я боюсь его. Он страшный, Мишка. Я больше никогда не испугаюсь. Клянусь своей честью, своей жизнью, своим родом — больше никогда.

И Миша, глядя на его заплаканное лицо, на размазанные по щекам слезы и на то, как Алешка дрожит от страха и сты-

да, сказал тихо, сквозь сжатые зубы:

— Я знаю, Леша. Я знаю. Поэтому я тебя и не бросил. Потому что ты — единственный, кто пришел. Только ты. И это стоит больше, чем все слова на свете.

История с часами стала переломным моментом. Миша после порки заболел — у него поднялась температура, начался жар, и он бредил несколько дней. Ему снились страшные сны — он стоял в темной комнате, полной зеркал, и в каждом зеркале был Феликс, который смеялся и показывал на него пальцем. Мать не отходила от его постели, прикладывала холодные примочки к его лбу, молилась и плакала, но Миша не видел этого — он был где-то далеко, в том темном мире, где рождаются детские страхи и взрослеют навсегда.

Когда он очнулся, то понял, что мир изменился. В нем больше не было доверчивости. Он видел каждого человека насквозь: кто может предать, кто может ударить, кто может использовать его слабость. Он стал еще более замкнутым, еще более расчетливым. Его глаза стали еще более холодными, а лицо — более непроницаемым. Но он не озлобился — он научился ждать. Он понял, что месть — это не удар в ответ. Месть — это когда ты ждешь своего часа, собираешь факты, как нити паутины, и затягиваешь их в тот момент, когда враг меньше всего этого ожидает. Это не эмоция. Это стратегия. И он начал играть в эту игру.

Феликс Друцкой торжествовал. Он показал всем, кто тут хозяин. Но Миша затаился. Он начал вести дневник, где

фикси́ровал все поступки Друцкого, все его странные выходы, все разговоры, которые он случайно слышал. Он стал тенью, которая следовала за графом по пятам, но так осторожно, что никто не догадывался о его слежке. Он заметил, что Феликс встречается по ночам с каким-то человеком у пруда. Он заметил, что Феликс часто бывает в комнате наследника Бориса и что после этих визитов ребенок слабеет. Он заметил, что Феликс переписывается с кем-то в Петербурге, и что письма отправляются через доверенного слугу, который получает за это золотые монеты.

— Я поймаю его, — сказал Миша Алешке, когда они сидели на старом дубе через месяц после порки. — Я не знаю когда, но я поймаю его. У него есть слабое место. У всех есть. Я найду его. И когда я его найду, я нанесу удар.

— Я с тобой, — ответил Алешка, сжимая кулак. Его рука уже была не детской — в ней появилась та особая твердость, которая появляется у мужчин, решивших идти до конца. — Я буду твоей рукой. Ты — мозг, а я — мышцы. Мы команда, Мишка. Мы сметем его.

Алешка, мучимый чувством вины, стал еще более яростным защитником Миши. Он ввязывался в драки с любым, кто смел косо взглянуть на друга. Однажды он сломал нос двоюродному брату Друцкого, который назвал Мишу «вором». За это Алешку лишили права поступать в самый престижный полк — Семеновский, куда его прочил отец. Он остался в провинции, но не жалел об этом.

— Я не хочу служить с теми, кто смотрит на людей по роду, а не по их душе, — сказал он Мише, когда узнал о наказании. — Я лучше буду служить с тобой здесь, чем с ними там. Мы еще покажем им, на что способны. Без их полков. Без их званий. Просто так.

— Ты глупый, — ответил Миша, но голос его дрогнул, и он отвернулся, чтобы Алешка не видел его слез. — Ты сломал себе карьеру из-за меня. Из-за того, что я вор в глазах этого дома.

— А ты, — улыбнулся Алешка, хлопнув его по плечу своей широкой ладонью, — ты сломал себе спину из-за меня. Я тоже был трусом. Теперь мы в расчете. Квиты. И с этого момента — только вперед.

И они рассмеялись — нервно, сквозь боль, как два человека, которые знают, что впереди еще много дерьма, но которые готовы идти вместе, плечо к плечу, до самого конца.

Прошло время. Миша подрос, окреп, его лицо стало более жестким, челюсть — более волевой. Он по-прежнему был худ, но в его движениях появилась та плавная, пружинистая грация, которая свойственна людям, умеющим ждать и нападать в нужный момент. Он уже не мыл посуду — отец взял его в помощники по имению, и он начал разбираться в цифрах, земельных картах, старых документах. Он обнаружил, что умеет складывать в уме быстрее любого счетовода, и что ему нравится искать ошибки в расчетах — потому что каждая ошибка вела к чьей-то выгоде. Он также открыл для

себя старые книги по юриспруденции, которые хранились в библиотеке, и начал изучать законы, потому что понимал: правда без закона — это всего лишь крик, который никто не слышит.

Он часто видел Соню в парке и на музыкальных вечерах. Между ними установилась та странная, полу-молчаливая близость, которая не нуждается в словах. Она иногда приносила ему ноты в библиотеку, и он смотрел на ее длинные пальцы, на то, как они перебирают клавиши, и думал: «Если бы я мог слышать мир так, как она слышит музыку — я бы уже разгадал эту проклятую тайну. Я бы слышал, о чем молчат стены. О чем шепчут половицы». Он все еще хранил ее дневник — маленький, зеленый, в бархате, — перечитывая его иногда по ночам, проверяя, не пропали ли страницы.

Алешка тоже изменился. Из шумного мальчика он превратился в крепкого юношу, плечистого, широкого в кости, с той особой статью, которая появляется у людей, привыкших бороться с ветром. Он уже не был таким наивным — он видел, как Мишу обижают, и учился замечать подвох там, где раньше видел лишь простоту. Он стал хорошим шахматистом, научившись у Миши просчитывать ходы, и иногда они играли по ночам при свете свечи, и Алешка проигрывал, но не злился.

— Ты слишком много видишь, — сказал он однажды Мише, когда они сидели на старом дубе, глядя на то, как луна отражается в пруду. — Ты видишь то, что не должен ви-

деть. Это опасно, Мишка. Ты знаешь, что бывает с теми, кто слишком много знает? Их убирают. Тихо. Без шума.

— Мне нужно видеть, — ответил Миша, глядя на звезды, которые казались такими далекими и холодными, как его собственное сердце. — Если я перестану видеть — они меня съедят. И не только меня. Они съедят и тебя, и Соню, и Бориса. Всех. Я должен видеть, чтобы защитить вас. Даже если это будет стоить мне жизни.

Алешка промолчал. Он знал, о чем говорит Миша. Он тоже начал замечать странности в доме Юсуповых. Станные смерти, странные совпадения, странные письма, которые исчезали так же внезапно, как появлялись. Он видел, как по ночам из имения выезжают кареты без гербов, как в подвале кто-то стонет, как старый князь все чаще запирается в библиотеке с иезуитом и выходит оттуда бледнее смерти. И он понял, что их дружба — это не просто игра. Это союз, который может стоить им жизни. Но отступать было поздно.

— Мы с тобой связаны, Мишка, — сказал Алешка, протягивая руку. — Как те нити, которые ты плетешь. Мы не можем разорвать их. И я не хочу. Я с тобой.

— И я с тобой, — ответил Миша, сжимая его ладонь. — До конца. До самой смерти.

Корни срослись в темноте, и теперь они тянулись к свету — к той правде, которая должна была рано или поздно всплыть наружу, как утопленник в пруду, когда вода становится прозрачной. И они знали, что, когда она всплывет, мир

изменится навсегда.

Глава 3

Архангельское, усадьба князей Юсуповых. 1802–1805 годы.

Пансион для детей прислуги располагался в северном флигеле усадьбы — длинном, сыром помещении с низкими потолками, где даже в полдень царил серый, болезненный полумрак, словно солнце навсегда забыло дорогу в это место. Окна, затянутые тонкой паутиной, которая висела на них с незапамятных времен, выходили на глухую каменную стену главного корпуса, сложенную из крупных валунов, поросших мхом и лишайником цвета старой меди. Солнце сюда заглядывало только ранним утром, да и то краешком, словно извиняясь за свою дерзость, и его лучи, пробиваясь сквозь мутные стекла, ложились на парты бледными, дрожащими пятнами, которые быстро таяли, как невысказанная надежда.

Стены комнаты были выбелены известкой, которая уже пожелтела от времени и сырости, покрылась мелкими трещинами, напоминавшими карту неизвестной страны. На потолке расплылись бурые пятна — следы протекавшей крыши, которую вечно некому было чинить, и эти пятна, казалось, разрастались с каждым дождем, как темные мысли в голове человека, привыкшего к беде. В углах, за шкафами, селилась плесень — бархатистая, черная, с неприятным, сладковатым запахом, который смешивался с запахом чернил и

старой бумаги.

Здесь пахло плесенью, старыми чернилами и детским потом — тем особенным, кисловатым запахом, который появляется в помещениях, где дети ютятся в тесноте и холоде. Пахло также горелым салом от свечей, которыми освещали класс по вечерам, и сухими листьями, которые заносило ветром из парка через неплотно закрытые рамы. Этот запах въелся в одежду, в волосы, в кожу — его невозможно было вывести никаким мытьем.

Вдоль стен стояли парты — грубо сколоченные доски на козлах, вытертые локтями поколений учеников до блеска, с вырезанными на них инициалами и неприличными рисунками. За партами сидели дети управляющих, садовников, поваров и прочей челяди. Их было человек двенадцать — разного возраста, от семи до четырнадцати, — и все они смотрели на учителя с той смесью страха и равнодушия, которая свойственна детям, знающим, что знания не изменят их участи. Они были одеты в одинаковые серые рубахи и холщовые штаны, с заплатами на коленях, и в их глазах уже не было того блеска, какой бывает у детей, верящих в лучшее. Они знали, что их удел — такая же работа, как у отцов, такая же бедность и такое же молчание.

Учителем был Карл Иванович Швейцер — невысокий, сутулый человек лет пятидесяти, с лицом, изрезанным глубокими морщинами, как старая карта местности, где все дороги ведут в никуда. Его седые волосы были зачесаны набок,

прикрывая лысину, а очки в тонкой железной оправе вечно сползали на кончик длинного, чуть искривленного носа, и он имел привычку поправлять их указательным пальцем, когда хотел подчеркнуть свою мысль. Он носил потертый черный сюртук, на локтях которого красовались кожаные заплаты, аккуратно пришитые его собственной рукой, и всегда пахнул табаком и мятными леденцами, которые сосал для ясности ума. Его руки, сухие, с длинными пальцами, покрытыми чернильными пятнами, постоянно жестикулировали, когда он объяснял, и эти жесты были отточенными, почти театральными.

Карл Иванович был швейцарцем, бежавшим из Женевы после того, как его обвинили в сочувствии революционерам. Он преподавал здесь уже десять лет и за это время успел возненавидеть Россию, ее климат, ее обычаи, и особенно — ее дворян, которые, по его словам, «покупают образование, как покупают лошадей, не понимая, что разум нельзя запрячь в карету». Он был резок, циничен и не терпел глупости. Но за этой внешней жесткостью скрывалась странная, почти болезненная честность, которая не позволяла ему льстить сильным мира сего. Он называл князя «просвещенным варваром», а графиню — «восковой куклой», но делал это так тихо, что слышали только стены.

Карл Иванович был тем самым человеком, который заметил Мишу в первый же день занятий. Когда мальчик сел за парту, не поднимая глаз, и стал ждать, сжав ладони под сто-

лешницей, учитель подошел к нему, положил на стол книгу по арифметике, которую держал под мышкой, и сказал своим скрипучим, но пронзительным голосом:

— Реши пятую задачу. Без подсказок. Если сможешь — будешь сидеть в первом ряду. Если нет — останешься здесь, среди тех, кто считает на пальцах. Не смотри на других, они тебе не помогут. Думай сам.

Миша не взглянул на книгу. Он уже прочитал ее тайком, когда убирал в библиотеке, и знал все задачи наизусть. Он просто назвал ответ — мгновенно, сухо, как будто читал его с невидимой доски, голосом, в котором не было ни тени сомнения. Карл Иванович прищурился, приподнял очки, и в его глазах мелькнула искра — редкая, почти забытая искра интереса, которая зажглась впервые за многие годы.

— Реши шестую, — сказал он уже тише, наклонившись к Мише так близко, что тот почувствовал запах его леденцов.

Миша ответил снова. И снова. И снова. Тогда Карл Иванович наклонился к нему, положил руку на парту, и его голос стал почти шепотом — таким, который слышал только Миша:

— Ты не просто считаешь, мальчик. Ты *видишь* числа. Ты чувствуешь их логику, как чувствуют музыку. Это редкий дар. И редкое проклятие. Потому что люди не любят тех, кто видит слишком много. Запомни это. И не показывай своего дара слишком часто. Иначе тебя сломают. Они ломают тебя, как сломали меня.

С того дня Карл Иванович выделил Мишу среди всех учеников. Он давал ему дополнительные задания, приносил книги из своей личной библиотеки — книги по математике, философии, истории, на французском, немецком, латыни — и не скрывал своего удивления перед способностями мальчика. Иногда они оставались после занятий, и Карл Иванович рассказывал Мише о Женеве, о революции, о людях, которые мечтали изменить мир, и о том, как мир сломал их мечты.

— Ты мог бы учиться в университете, — сказал он однажды, когда они сидели в классной комнате после занятий, и за окном уже сгущались сумерки, окрашивая небо в цвет старого серебра. — Ты мог бы стать юристом, философом, даже математиком. Но ты — сын управляющего. Ты — слуга. И твой потолок — это потолок этого флигеля. Тебе придется либо смириться, либо бороться. Но помни: борьба требует денег, связей и удачи. У тебя есть только ум. Один ум, как одинокий волк в степи. Этого мало.

Миша молчал. Он уже знал это. Он уже чувствовал эту стеклянную стену — прозрачную, невидимую, но непреодолимую, которая отделяла его от мира господ. Он видел ее в каждом взгляде дворецкого, в каждом снисходительном жесте графини, в том, как князь обращался к его отцу — почти любезно, но всегда с той легкой, едва заметной нотой превосходства, которая была хуже любого оскорбления. Он видел эту стену в том, как дети дворян, проезжая мимо пан-

сиона в своих каретах, смотрели на учеников, как на экзотических животных, и в том, как его собственная мать, когда он пытался рассказать ей о прочитанном, отводила глаза и говорила: «Не зазнавайся, Миша, ты не из тех».

Но он также знал, что у стеклянной стены есть слабое место. Она не слышит. Она не видит. Она не может остановить того, кто движется тихо, как тень, и собирает факты, как коллекционер — жуков в банку. Он станет тем, кто сможет разбить эту стену. Не кулаком — для этого он слишком слаб, слишком худ, слишком мал. А знанием. Ключом. Правдой. Он станет тем, кто сможет пройти сквозь стену, не разбивая ее, а находя в ней щели и просачиваясь через них, как вода.

В свободное время Миша играл в шахматы. Он играл сам с собой — ставил доску на подоконник, переставлял фигуры и проигрывал сам себе, анализируя ошибки. Он мог играть часами, не замечая ни холода, ни голода, ни времени, пока пальцы его не сводило от напряжения, а глаза не начинали слезиться от усталости. Шахматы были для него не игрой — они были моделью мира, где каждый ход имел последствия, а каждая фигура — свою ценность и судьбу. Он видел в них схему жизни, где король был уязвим, ферзь — всесилен, но без пешек не мог выиграть ни один гроссмейстер.

Однажды Карл Иванович, заметив это увлечение, принес ему книгу на немецком — «Анализ шахматной игры» Филидора, в кожаном переплете, с потертым корешком и тисненым золотом названием. Миша читал ее с жадностью, хотя

почти не понимал немецкого. Он переводил каждое слово с помощью латинского словаря и делал пометки на полях карандашом, который вечно ломался и оставлял жирные следы на бумаге. Вскоре он знал все стратегии Филидора наизусть и начал разрабатывать свои — более агрессивные, нестандартные, рассчитанные на неожиданные комбинации, на жертвы, которые казались безумными, но вели к победе.

— Ты играешь как убийца, — сказал ему Карл Иванович, наблюдая за одной из его партий, когда Миша сидел за доской в полутьме и его лицо освещалось лишь одним огарком свечи. — Ты жертвуешь пешками, чтобы открыть линию для ферзя. Ты не боишься потерь. Ты считаешь, что любая жертва оправдана, если она ведет к победе. Ты как шахматист-маньяк. Ты готов пожертвовать всем, кроме короля.

— Так и в жизни, — ответил Миша, не поднимая глаз, водя пальцем по доске, как по карте будущего сражения. — Чтобы выиграть, иногда нужно пожертвовать тем, что кажется важным. Но главное — знать, что жертвуешь осознанно, а не по глупости. И знать, зачем ты это делаешь.

— Ты опасен, мальчик, — покачал головой Карл Иванович, и его голос дрогнул. — Ты опасен, потому что ты молод, умен и безжалостен. Но у тебя есть одно слабое место: ты веришь, что логика может все объяснить. Это не так. Иногда люди делают глупости, потому что они люди. И это не поддается вычислению. И в этом их сила и слабость одновременно.

— Я вычислю и это, — сказал Миша, и в его голосе про-

звучала сталь — та самая сталь, которая закаляется в огненных обид. — Я вычислю все. Даже глупость. Даже иррациональность. Даже страх. Потому что у всего есть причина. И если я найду причину, я смогу управлять следствием.

Криптография пришла в его жизнь случайно. Однажды он нашел в библиотеке старую книгу по криптологии — «Шифры и их расшифровка» на французском, изданную в Париже еще в 1750-х годах, с потрепанными страницами, которые пахли пылью и временем. Она была ветхой, с выпадающими страницами, но Миша вчитался в нее с такой страстью, какой не испытывал даже к астрономии. Он понял, что шифры — это шахматы, но с буквами. Каждый шифр — это битва между автором и читателем, между тем, кто хочет скрыть правду, и тем, кто хочет ее узнать. Он часами сидел над книгой, разгадывая примеры, переписывая их в свою тетрадь, придумывая свои собственные комбинации.

Он создал свой собственный шифр. Он перемешивал кириллицу с латынью, вставляя между буквами цифры, которые обозначали страницы из Псалтыря — единственной книги, которая была у него под рукой всегда. Он использовал ключ, который хранил в голове, и который менял каждую неделю, в зависимости от дня недели и фазы луны, потому что он заметил, что повторяющиеся ключи легче раскрыть. Он стал записывать в дневник все, что видел и слышал, но так, что даже если бы дневник попал в руки врага, тот прочитал бы только бессмысленный набор букв и цифр,

похожий на бред сумасшедшего.

Он скрывал все — и свои наблюдения за Феликсом Друцким, и странные смерти в усадьбе, и свои разговоры с Соней, и даже свои собственные страхи. Его дневник стал тайным миром, где жила настоящая правда, та правда, которую он не мог доверить никому, даже Алешке. Он стал священным для него — как Библия для монаха, как карта для путешественника. Он носил его с собой в кожаном мешочке, который повесил на шею, и спал с ним, как с талисманом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.